

В „СТРАНЕ

О ДРАМАТУРГИИ
МУСТАЯ КАРИМА

АЙГУЛЬ“

(Продолжение. Нач. в № 277).

Оглянувшись на творческую биографию драматурга, можно обнаружить, что пьеса «Неспетая песня» где-то смыкается с «Одиноким березой». И там, и здесь внимание зрителя привлечено к персонажам, терпящим сокрушительное поражение при столкновении с силами и принципами, выражающими суть социалистического общежития. То общее, что сближает два произведения, заключено в безусловном и неминуемом крахе всех связей человека, вообразившего себя персоной вне критики. Но на этом сходство обрывается. Ибо Мирзахан Шавкатов с мучительным беспокойством ощущает свое одиночество и начинает восстанавливать порванные им же самим связи. А Дусмет Ярлыкапов — герой драмы «Неспетая песня» — распахивает окно из мрака своей жизни, чтоб почувствовать холод собственной общественной изоляции. «Неспетая песня» — самая откровенная в дидактических установках пьеса Мустая Карима. И именно поэтому она — сверляще жестокая повесть о бесславном крушении политического лицемера.

Во всех других отношениях драма риторична или сентиментальна, потому что характеры многих персонажей условны, их поступки иллюстративны и чаще всего не становятся органичным выражением той правоты, которую они отстаивают на словах. Но два образа, два типа, ставших предметом подробного анализа, выписаны с живостью, свидетельствующей как о даровании автора, так и о проникающей силе его ума.

Дусмет Ярлыкапов, деятель городского масштаба, и некто Арыкбаев, руководитель промышленного предприятия, застигнуты одной «болезнью». Оба они в своей практической жизни ориентируются на мир застывший и неподвижный. Разница лишь в том, что один склонен «диктовать» тому миру свои условия, а второй — довольствоваться этой абсолютной данностью. Это что же — сатирическая комедия? Нет. Но это — ненависть, жгучая, как абсолютный холод. И это — боль, горькая, как плач обманутой женщины.

Дусмет Ярлыкапов — при всей его нравственной нечистоплотности — убежден, что ореол избранности осеняет его уже потому, что ему доверен важный пост. Сполной серьезностью он может сравнить себя с ранним кочетом, провозглашающим зарю, и с той же угрюмостью, без тени юмора назвать себя добрым конем, которому не возвращается придавить мимоходом мелкую живность. Эти зоологические сравнения привлекаются им с единственной целью — утвердить свою исключительность, свою неподсудность нашей морали, правилам социалистического общежития. Чувовичность подобных аналогий парадоксально оттеняется элементарно плоским смыслом его конкретных деяний: Ярлыкапов первым вызывается ехать на село, но не едет, ибо убежден, что его миссия — «прокукарекать» и вернуться на теплый настил, а работа, действительно превращенная в жизнь лозунгов дня, — удел других.

«Демагог, — скажем о нем, — фальшивый плакат без единого намека на жизненное содержание». И точно: разоблачить Ярлыкапова нетрудно. Он — очевидный образец разрыва между словом и делом, между идеей и деянием, а попросту — лицемер, который наобещает с три короба, но палец о палец не ударит, чтобы исполнить обещанное, потому что дело — не его дело.

Арыкбаев — продолжение и противоположность Ярлыкапова.

Любопытно, что Арыкбаев в пьесе не наделен никакими ярко выраженными характерными приметами, за исключением незаурядного физического сложения. У него даже имени нет. Он — личность покорная, начисто лишённая инициативы. Воплощение исполнительности без огня, без воображения и даже без корысти. Разоблачение махинаций Ярлыкапова и последовавшее затем прозрение ничуть не освобождают его от пут безгласности, ибо те узы — собственные беды Арыкбаева. Будь он эрудированным человеком, то обязательно процитировал бы с грустными нотками в голосе строки поэта: «Тише, тише согревайте с прежних идилов одежды. Слишком долго мы молились, — не угаснет прежний свет». Но Арыкбаев — человек немудрящий. Он не обращается за поддержкой к высокой поэзии, чтобы утешить перепуганного перед лицом разоблачения Ярлыкапова: «Нельзя грех, вся вина —

моя! Я — человек маленький, вытерплю, все возьму на себя. Спите спокойно. Большому человеку нельзя беспокоиться».

Мустай Карим с похвальной наблюдательностью разглядывает категорию людей, взгляды которых мечены полнейшим равнодушием как к своей социальной судьбе, так и к общественному человеческому достоинству.

Наш замечательный драматург возвышает свой голос до самых гневных нот, обрушивая со справедливой яростью на «ярлыкаповщину». Но стал ли его гнев меньше, когда в поле зрения поэта оказался Арыкбаев? Художник, творчество которого уходит всеми корнями в народную жизнь, не мог промолчать, увидев между нами «посторонних». Он предъявляет самые значительные требования человеку, которому выпала роль участника коммунистического строительства, и с этих позиций будит в нем чувство ответственности. Он утверждает, что коммунизм, который становится возможен как результат творчества народа, предполагает во всех нас политическую зоркость, гражданскую активность, высокую культуру мысли и чувств.

Впрочем, мы говорим о других произведениях Мустая Карима, среди них — о его любимой пьесе — трагедии «В ночь лунного затмения».

Трагедия «В ночь лунного затмения», отмеченная Государственной премией РСФСР имени К. С. Станиславского (премии удостоены автор, постановщик спектакля в Башкирском государственном академическом театре драмы Ш. Муртазина, художник-оформитель Г. Имашева, исполнительница главной роли Танкабики — З. Бикбулатова), отличается среди всех драм Карима философской зрелостью, глубоким психологизмом, действенной нравственной и эмоциональной силой. Источником этих высоких качеств является та суровая настойчивость, с какой драматург входит в рассмотрение основных категорий мироощущения человека. Испытательным средством при этом опять становится социальная и нравственная ответственность, какую отмеривает человек для себя и для других.

По всем формальным приметам, это — притча. Трагедия создана по мотивам народных легенд. События ведут нас на отроги сказочного Урала, к древним кочевьям башкирских родов, где зародилось печальное предание о девушке, выданной замуж за малолетнего ребенка в силу собственнических прав на купленную за богатый выкуп невесту. Оно, это сказание, не раз волновало воображение деятелей башкирского искусства и легло в основу фольклорно-этнографической драмы, оперы и даже лирической комедии. Но для автора трагедии «В ночь лунного затмения» легенда стала аллегорией для выражения горьких размышлений над участью человека, обрешего себя на нравственную слепоту, интеллектуальное прозябание, духовное рабство. Несомненно, явный этнографизм пьесы то и дело снимает ощущение злободневности рассматриваемых проблем, придавая им характер несколько расплывчатого гуманистического манифеста.

Однако послушайте, что говорят в пьесе:

«Не мы, Шафак-килен, даруем судьбы людям!» — этими словами драматург вводит нас в средоточие духовного мира Танкабики, определено главного персонажа произведения.

Сказано — яснее нельзя. Тут и философский, и политический, и конкретно-исторический аспекты древнейшей религии человечества — фатализма. Фатализм — это ведь не только покорность предначертаниям судьбы, бога, обстоятельству или еще чего-то там. Это — приспособление к внешнему путем максимального точного и безусловного копирования его требований и форм. Он совершенно снимает понятие свободы и ценности познания как предвидения и выбора будущего. Противопоставить ему иной образ мышления, значит испровергнуть существующий порядок вещей, к которым с раболепным почтением относится фатализм.

Видите, какие жестокие обвинения пали на Танкабику. И тот тяжелей упрек бьет, отнюдь не рикошетом, и по тому, кто чересчур равнодушно

воспринимает смысл данного образа и щемящий пафос всей трагедии, опрокидывая ее лишь в прошлое.

Но только ли об обвинениях надо говорить? В «Неспетой песне» Карим бросил тяжелый камень в застоявшуюся воду сознания арыкбаевых и прошел дальше. Теперь же со всей строгостью реалистического писателя проследивает драматург пути падения Танкабики и не ищет утешающих слов. Но с безоглядностью сына, спасающего мать, припадает он тоскующим ртом к ее отчаянию, к ее неутоленному горю. Тут и кроется неотразимая сила эмоционального воздействия трагедии. Путь Танкабики безысходен. Твердый в чудовищных убеждениях ум подкашивает ее одно за другим бесчеловечные решения. Она женит сына на вдове старшего сына, выдает его невесту за ребенка, отдает их всех в руки объятых фанатической яростью столпов мракобесия и сама гибнет, раздираемая мрачным долгом и материнской любовью. Танкабика страдает в муках, перед которыми блекнет уготованный ей ад, страдает трагически безнадежно, и ее обреченность раздирает наши глаза, хлещет каленым прутом нашу совесть, подстегивает недремлющее чувство справедливости.

Талант Мустая Карима достиг в этой пьесе высоких ступеней выразительности. Жанр трагедии представлен в ней во всеоружии могучих, действительных возможностей. Он не нов для юной, но всегда отличавшейся активностью башкирской советской драматургии. Даут Юлтый, Мухаметша Бурангулов, некоторые другие литераторы ранней поры родной словесности, затем Баязит Бикбай, а также отдельные татарские писатели, начинавшие в русле башкирской литературы, не раз обращались к трагедийному жанру... Мустай Карим вернул трагедии два главных и первоначальных эмоциональных ее начала — экстаз и плач. Нравственная борьба в трагедии «В ночь лунного затмения» доведена до иступления, внушающего ужас, ввергающего в трепет. Исход возможен в слезах. И трагический плач становится как лейтмотивом произведения, так и источником нашего духовного очищения.

Но все же — какая это горькая, безысходная вещь! Там нет выхода. Ведь выходом из рабства, условием утверждения духовной и действительной свободы является не просто противопоставление иных, гуманистических нравственных концепций, а практическое социальное действие. Акъегет, мечущийся между покорностью воле матери и любовью, не стал носителем мятежа. Им мог быть «поэт вольнолюбивый» Акман-сэн, чей великолепный портрет, напоминающий о Салавате, возник в словах Акъегета. И им стала девочка по имени Айгуль уже из другого произведения Мустая Карима. Здесь же, в сумрачном мире тотального рабства, поэт искал другие истины. Рассказав печальную притчу о том, что произошло однажды в старину в ночь лунного затмения, Карим с суровой мудростью показал, какими бедами грозит человеку фатализм, назовем ли мы его религией или интеллектуальной протрацией.

Закономерно, истинно и в высшей степени художественно точно, что носителем протеста против любых форм не-свободы, а вернее уже будет — носителем полного контроля человека над своим собственным общественным бытием, мог стать в творчестве Мустая Карима советский характер. Поэт обращается в поисках героического характера к образу советского человека. Сколь бы прозрачна ни была притча Мустая Карима, трагедия «В ночь лунного затмения», будучи достоинством реалистическим произведением и обращенная тематически в прошлое, не наша в нем силы, действительно противостоящей миру духовного осуждения. Сколь бы возмуженна ни была песня Карима в честь непокоренных Акъегета и Зубаржат, смертью поправших узы повинности, их протест — упрек, но не воля, утверждающая новую нравственную концепцию. Такая воля, такое социальное деяние заключены в выборе Айгуль.

С. САИТОВ.

[Окончание следует].